

## ПИСЬМА ОБЛОМОВА

*И. В. Пырков*

*Посвящается памяти моих родителей,  
Пыrkова Владимира Ивановича  
и Васильцовой Нэли Даниловны*

Кто же не помнит знаменитой обломовской чернильницы, этой символической детали, иллюстрирующей пресловутую леность Ильи Ильича Обломова?

«На этажерках <...> лежали две-три развёрнутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с чернилами; но страницы, на которых развёрнуты были книги, покрылись плесенью и пожелтели <...> а из чернильницы, если бы обмакнуть в неё перо, вырвалась бы разве только с жужжанием испуганная муха»<sup>1</sup>. Иван Александрович Гончаров, великий мастер эпистолярного жанра, придаёт заброшенному его героем атрибуту письменности особое, конечно, значение. Сам-то он священнодействовал, когда писал письма: «Я сажусь за перо и бумагу, как музыкант садится за фортепьяно, птица за своё пение, и играю, пою, т. е. пишу всё то, что в ту минуту во мне делается»<sup>2</sup>. Так что высохшие чернила — это серьёзная характеристика обломовского быта. И дело тут, разумеется, не столько в лени Ильи Ильича (да и можно ли всерьёз назвать ленивым человека, с таким упорством отбивающегося от щипков и прикосновений жизни — «Жизнь трогает!»), сколько в принципиальном, вполне осознанном нежелании его поддерживать связь с внешним миром.

И всё-таки письма играют в судьбе Обломова не последнюю роль. Из-за чего, к примеру, Илья Ильич вынужден был в своё время уйти со службы? Из-за письма, конечно! Из-за деловой бумаги, которую он ухитрился отправить «вместо Астрахани в Архангельск» (С. 62). Да, если уж Обломов ошибается, то по-крупному, масштабно, путая, по меньшей мере, юг и север. А две беды, точнее, «два несчастья», о которых твердит обитатель квартиры в Гороховой каждому своему утреннему визитёру? Это ведь два письма: одно пришло из деревни, от старосты, другое же нужно написать «к домовому хозяину», чтобы отсрочить переезд или вовсе, как выражается Обломов, «избегнуть крайностей» (С. 55).

Но избежать крайностей, т. е. найти «золотую середину», «золотую рамку жизни», по-обломовски, Илье Ильичу так легко не удастся. Как ни красноречив будет он, объясняя готовому сквозь землю провалиться Захару, почему переезд, т. е. «ломка», «шум», — это удел «*других*», а не его, барина, переехать ему всё-таки придётся. Проводник авторской воли Тарантьев, стоящий уже на пороге и отчаянно звонящий в дверь, позаботится об этом. И за ум Илье Ильичу предстоит взяться, и за перо. Об этом позаботятся Штольц с Ольгой. И каким же блестящим слогом напишет Обломов своё послание к Ольге! Напишет «быстро, с жаром, с лихорадочной поспешностью, не так, как в начале мая писал к домовому хозяину» (С. 221).

Пока же именно начало мая, и Илья Ильич всё никак не может избежать «близкой и неприятной встречи двух *которых* и двух *что*», кряхтя над полулистом серой бумаги, которым Захар закрывал на ночь стакан, чтоб туда не попало «что-нибудь... ядовитое» (С. 80). Высохшие же совершенно чернила Захар, этот «рыцарь со страхом и упрёком», разводит по такому особенному случаю квасом.

«Какие скверные чернила!» — восклицает укоризненно Обломов и принимается всё-таки за письмо. Вот его текст:

«Квартира, которую я снимаю во втором этаже дома, в котором вы предположили произвести некоторые переустройства, вполне соответствует моему образу жизни и приобретённой вследствие долгого пребывания в сем доме привычке. Известаясь через крепостного моего человека, Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира...» (С. 80). Заметим, что собственный стиль не устраивает в данном случае Илью Ильича, отлично разбирающегося в хорошем слоге. Он несколько раз переставляет слова местами, зачёркивает, переправляет их, но всё выходит «бессмыслица». «Э! да чёрт с ним совсем, с письмом-то! Ломать голову из таких пустяков! Я отвык деловые письма писать» (С. 80). И на пол летят клочки разорванной бумаги...

А вот от другого письма, или «несчастья», отделаться куда как тяжелее. Тут, пожалуй, и голову в пору поломать. И Обломов ломает. Дело в том, что Илья Ильич какое-то время назад получил депешу от Прокофия Вытягушкина — старосты, заправляющего теперь в Обломовке. Вся первая часть романа вплоть до «Сна Обломова» осенена унылым светом этого мятого, «грязного такого», «с печатью из бурого сургуча» донесения. Плохие вести пришли из родной Обломовки. «Пятую неделю нет дождей»; «озимь ино место червь сгубил»; «под Иванов день ещё три мужика ушли»; «холста нашего сей год на ярмарке не будет» (С. 44). Отсюда печальный и весьма тревожащий далёкого от дел и всё-таки живущего доходами собственнотолько из деревни Илью Ильича итог: «В недоимках недобор: в нынешний год пошлём доходцу, батюшка ты наш, благодетель, тысящи яко две помене против того года...» (С. 44).

И каждому из своих утренних гостей Обломов пытается рассказать о не дающем ему покоя письме, но кто-то, как солнечный зайчик грядущего лета Волков, франт Волков, легко и изящно отмахивается от обломовских несчастий тончайшим батистовым платком, ссылаясь на интенсивность светской жизни («Pardon, некогда...»), кто-то, как деликатный Судьбинский, обременённый чиновными думами, обещает заехать на днях, кто-то, как литературный подёнщик Пенкин, примитивно истолковывающий существо писательского труда, втягивает Обломова в полемику совсем о другом. Хотя, если вдуматься, о том же самом, конечно, о человеке: «Человека, человека давайте мне! — говорил Обломов, — любите его...» (С. 39).

Письмо же от старосты выслушивает сначала на всё согласный Алексеев, а после не соглашающийся ни с чем и никогда Тарантьев. Алексеев, этот «неполный, безличный намёк на людскую массу» (С. 41), — плохой советчик, точнее говоря, никакой. Его резюме звучит глухим и совершенно бесполезным для Обломова отголоском извечных — *прописных* — истин: «Что ж так тревожиться, Илья Ильич?..

Никогда не надо предаваться отчаянию: перемелется — мука будет» (С. 45). И всё-таки в старых, как мир, словах Алексеева угадывается перспектива романного действия, чувствуется некое иное знание. Уж не великая ли хозяйка Агафья Матвеевна Пшеницына, где-то там, в дальнем конце романа, по ту сторону Невы, печёт из этой муки так полубившийся Илье Ильичу пирог с цыплятами и грибами. Настоящий, обломовский!

Михей Тарантьев, «земляк» Обломова, бесцеремонно навязывающий ему переезд на Выборгскую сторону, даёт, в отличие от Алексеева, самые решительные рекомендации. «Ступай в деревню сам: без этого нельзя; пробудь там лето, а осенью прямо на новую квартиру и переезжай» (С. 55). Интересно, что Михей Андреевич сразу же разоблачает старосту и ставит, что называется, все точки над «и». «Староста твой мошенник... а ты веришь ему, разиня рот. Видишь, какую песню поёт! Засухи, неурожай, недоимки, да мужики ушли. Врёт, всё врёт!.. Ах, он разбойник, я бы его выучил!» (С. 55). А ещё Тарантьев наущает ошарашенного Обломова написать к самому губернатору: «Примите, дескать, ваше превосходительство, отеческое участие и взгляните оком милосердия на неминуемое, угрожающее мне ужаснейшее несчастье <...> и крайнее разорение, коему я неминуемо должен подвергнуться, с женой, и малолетними, остающимися без всякого призрения и куса хлеба, двенадцатью человеками детей...» (С. 56). Сильно сказано! Как тут не вспомнить крыловскую «Почту духов», где можно неожиданно наткнуться на такой вот, вполне актуальный и сегодня диалог:

«— Скажите мне, что это за бумаги, которые друг другу показывают многие, находящиеся в сей комнате.

— Это бумаги... называемые просительными письмами; просители... самими живыми красками доказывают в них свою бедность...

— Они, конечно, смягчают... сих бояр?

— Нимало... знатные имеют предосторожность не заглядывать в сии письма...»<sup>3</sup>.

Обломов догадывается об этом обстоятельстве, и лишь смеётся в ответ на тарантьевскую тираду. И правда, какой-либо практической пользы от гремящих разоблачений, угроз и советов Тарантьева не больше, чем от неопределённых сентенций Алексеева. «Тарантьев, — предупреждает читателя Гончаров, — мастер был только говорить; на словах он решал всё ясно и легко, особенно что касалось других; но как только нужно было двинуть пальцем <...> применить им же созданную теорию к делу <...> его не хватало...» (С. 47).

В окружении таких-то советчиков бедный Илья Ильич ждёт единственного, пожалуй, человека, который действительно может помочь ему справиться со свалившимися на голову «несчастьями», Андрея Штольца. «Обломов хотя был ласков со всеми, но любил искренно его одного, верил ему одному, может быть, потому, что рос, учился и жил с ним вместе» (С. 49). А пока вечно занятый, но на всё находящий время Штолец «в отлучке», Илья Ильич вновь и вновь обращается к письму от старосты, то просто упоминая его, то едва ли не наизусть цитируя («яко тысячи две помене!»), то пытаясь забыть и даже терять, чтобы снова отыскать где-нибудь

в складках одеяла и с ужасом прочесть. Приглядимся же и мы повнимательнее к этому своеобразному шедевр письменности.

Прокофий Вытягушкин, судя по всему, мастер составлять подобные отчёты. Как тут не вспомнить утверждение Тарантьева о том, что «все мошенники пишут натурально» (класс натуральной школы уже блестяще закончен ищущим новых путей автором!). Безрадостные факты, свидетельствующие, между прочим, о его, старосты, упущениях или, скорее всего, просто о его плутовстве, ловко окутываются заверениями преданности, комплиментарными обращениями, самоуничижительными характеристиками, вроде такой: «Авось, милостивый государь, Господь помилует твою барскую милость, а о себе не заботимся: пусть издохнем!» (С. 44). К тому же в письме смешиваются календарно-обрядовые ориентиры, что для сегодняшнего читателя не столь заметно, но для Обломова, с детства, как и его предки, живущего «по указанию календаря», — вопиющая несостыковка: «Месяца и года нет, — качает головой Илья Ильич, — ... тут и Иванов день, и засуха...». Вдобавок письмо заканчивается странной подписью, оставляющей, так сказать, некоторый простор для манёвра. «Староста твой, всенижайший раб Прокофий Вытягушкин собственной рукой руку приложил». За неумением грамотности поставлен был крест. «А писал со слов одного старосты шурина его, Демка Кривой» (С. 44). (Любопытная параллель: история Обломова ведь тоже рассказана писателем со слов Штольца.)

Но сейчас о другом — о подписи, благодаря которой можно почти физически ощутить, как на Илью Ильича надвигаются разрозненные ряды кривых букв. Надвигаются неровным и всё же непобедимым строем. О почерке Демки Кривого Гончаров, кстати, не говорит ни слова, да этого и не требуется. Само собой ясно: буквы несут для адресата дополнительную, подспудную информацию, их функция, в том числе и художественная, близка здесь предназначению родовых знаков, родовых мет. Родовой знак — это, как известно, лаконичный рисунок, значок-символ, рассказывающий о том, чем живёт, чем славится, как работает, какие болезни преодолевает тот или иной род. С помощью подобных значков издревле составлялись на Руси целые послания. Причём долгое время, даже ещё в XIX в., родовые знаки соседствовали с письменностью. Угол — соха, прямая линия — земля, волнистая линия — вода или слёзы, конь у привязи — возвращение домой. А был и такой нерадостный знак — перечёркнутый каравай хлеба, символ неурожая и голода<sup>4</sup>. Остаётся только догадываться, какие меты различает Илья Ильич в письме из родового своего имени. В любом случае это какая ни на есть, а всё же весточка из настоящего Обломовки, из неутешительного настоящего.

А из прошлого? Знаменитый сон, который видит Обломов, — это ведь, если разобраться, его заветная родовая мета, это то, что помогает ему оставаться самим собой — всегда. (Изменяется не Обломов, а мир!) Это его солнечный родовой знак. «Увертюрой ко всему роману» назвал Гончаров IX главу первой части. Без «Сна...» образ Обломова потерял бы своё обаяние, потому что лишился бы связи «с почвой родной Обломовки». А роман лишился бы главного источника света. Заметим, писатель до определённого времени всеми возможными способами приглушает

свет, затемняет его, «забывает» про слово «солнце». От серого сюртука Захара уже некуда деться, в некоторых абзацах текста он многократно тиражируется, а рядом — «паутина, напитанная пылью», «пожелтевшие страницы» давно открытой на одном и том же месте книги, замасленные тетрадки, какая-то грязноватая бумажка из кармана Тарантьева, колеблющийся дым его сигары, тёмный камень перстня на пальце доктора и «серая бумага письма», написанного бледными чернилами. («На небе ни облачка, а вы выдумали дождь...» — говорит Алексеев, чей точно бы сотканный из пыли и муки образ неизбежно рухнул бы рядом со словом «солнце».)

Автор до поры бережёт солнечные лучи и только один раз упоминает про Обломовку, название которой само по себе не может пока вызвать у нас никаких эмоций. Но «Сон...», как огромный проран света, вот-вот уже заставит читателя зажмуриться: солнечные берёзы, солнечные пространства, речка, отражающая солнце и слепящая глаза, пылкое солнце выпеченных по весне жаворонков, снежное солнце Рождества... «Но лето, лето особенно упоительно в том краю... Как пойдут ясные дни, то и длятся недели три-четыре...». Где же ещё, как не в Обломовке, «искать ясных дней, слегка жгущих, но не палящих лучей солнца...» (С. 97).

А ещё «Сон Обломова» одухотворён утренним светом материнской молитвы — чистым светом любви: «Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две тёплые слезы» (С. 101). Когда-то ведь и Гончаров, рано покинувший родные пенаты, ждал весточек с родины, когда-то и его звали вернуться родные голоса.

Такое вот солнечное, до горящей в глазах слезы светлое письмо получает Илья Ильич из былого, и действительно счастлив, когда читает только его.

«Обломов» — самый тёплый, самый просторный роман Гончарова. В нём столь много обжитого, удобного к жизни пространства, так светлы солнечные лучи и ясны дали, настолько близка и зрима сама земля, так чисты помыслы и мечты, до того искренни слова и слёзы, что роман сам по себе воспринимается читателем как нечто с детства ему сопутствующее, родное. Даже планы, которые постоянно вынашивает Илья Ильич. Мы понимаем, что они для Обломова неосуществимы, как неосуществимы, скажем, рекомендации доктора, предлагающего Илье Ильичу поехать в Киссенген, Швейцарию, Тироль и развлекать там себя верховой ездой. Понимаем умом. Но сердцем понять этого не хотим и не можем. А ведь и вправду хорошо мечтает наш «поэт в жизни»: «Погода прекрасная, небо синее-пресинее... одна сторона дома в плане обращена у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая — к деревне. В ожидании, пока проснётся жена, я надел бы шлафрок и походил по саду... Потом, надев просторный сюртук или куртку какую-нибудь, обняв жену за талию, углубиться с ней в бесконечную, тёмную аллею... Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в берёзовую рощу, а не то в поле, на скошенную траву, разостлали бы между стогами ковры и там блаженствовали бы вплоть до крошки и бифштекса...» (С. 162).

Ответ на вопрос, почему Обломов не едет в деревню, всё медлит, всё откладывает возвращение на родину, всё никак не может завершить и осуществить свой

план, вполне очевиден: он ведь прекрасно понимает, что Обломовки, в которой вырос он, давно уже нет, нет в живых матери с отцом, изменилась сама жизнь, дрогнули её привычные устои, исчезло равновесие. Вот и получается, что Обломовка теперь там, где Обломов, потому что он свято несёт её в сердце, живёт по её ритму и времени. Да, Илья Ильич пытается жить по индивидуальному — обломовскому — летосчислению, хотя и терпит в итоге сокрушительное поражение от главного своего противника — времени. Так тема лишнего человека становится в романе Гончарова темой лишнего мира.

В истории отечественной словесности само чудо письма всегда имело глубочайшую морально-нравственную основу. Взять хотя бы одно из последних писем А. Н. Некрасова, когда он, умирающий, нашёл в себе силы ответить простой сельской учительнице А. Малоземовой<sup>5</sup>... Письма и письмена гончаровского романа тоже тяготеют к некоему нравственному полю, соприкасаясь с трепещущими вопросами бытия.

Когда романное действие начнёт разгораться и прерывистое дыхание поющей Ольги станет почти различимым, Илью Ильича потрясёт до глубины души одно слово, «ядовитое» слово, которому суждено будет в своё время озариться пламенем гениальной добролюбовской статьи. Да, да, «*обломовщина*». Это слово Илья Ильич произносит на разные лады, повторяет, обдумывает, так и сяк мысленно примеривает к себе, а ещё и пытается записать. Но, поскольку, как мы помним, обломовская чернильница вышла из строя, Илья Ильич бессознательно прибегает к другому средству: «Он задумался и машинально начал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что написал: вышло *Обломовщина*».

Он проворно стёр написанное рукавом. Это слово снилось ему ночью, написанное огнём на стенах, как Бальтазару на пиру» (С. 168).

Вспомним, по библейской легенде, на стенах дворца, где пировал царь Вальтасар, неожиданно начали выступать огненные слова: *исчислено, взвешено, разделено*, предвещавшие скорую гибель его царства. Пламенные письмена судьбы!

К слову, письмо и огонь порой не делимы. Читая хрестоматийно известное стихотворение боготворимого Гончаровым Пушкина «Храни меня, мой талисман...», мы даже не задумываемся порой, что «талисманом» Пушкин называл перстень, подаренный ему на юге Е. К. Воронцовой. Этим перстнем Александр Сергеевич мог запечатывать письма или оставлять его сургучный оттиск на подаренных книгах со своим автографом<sup>6</sup>. В стихотворении «Сожжённое письмо» поэт ещё раз возвращается к теме перстня-талисмана:

*Прощай, письмо любви, прощай!  
Как долго медлил я, как долго не хотела  
Рука предать огню все радости мои!..  
Но полно, час настал: гори, письмо любви<sup>7</sup>.*

От подобных страстей обломовцы были далеки. Не случайно же они так не любили писать и особенно получать письма, опасаясь не то чтобы дурных вестей, а вестей вообще, в принципе. Черета жизни, её обрядовая последовательность не



должна была нарушаться чем-то или кем-то извне, раз и навсегда установленный самой, кажется, природой порядок событий неукоснительно чтился обитателями «избранного уголка». Как знать, может, именно поэтому в Обломовке рождались «розовые купидоны», а доживали люди чуть ли не до зелёных волос.

Отец Обломова, например, долго распекал мужика, доставившего на свою беду письмо из города: «Да ты где взял?»; «Кто тебе дал?»; «А ты бы не брал!» (С. 124). Когда же ясно стало, что от письма никак не отделаться, его спрятали под замок. «Полно, не распечатывай, Илья Иванович, — с боязнью остановила его жена, — кто его знает, какое оно там, письмо-то? может быть, ещё страшное, беда какая-нибудь. Вишь ведь народ-то какой нынче стал! Завтра или послезавтра успеешь...» (С. 125). Вскоре тревожное любопытство взяло всё-таки верх, и письмо распечатали. Правильно тревожились обломовцы, ведь послание оказалось от... Радищева! Речь идёт, понятное дело, об однофамильце, о соседе обломовцев — Филиппе Матвеевиче Радищеве, который попросил всего лишь прислать ему рецепт пива. Однако тень, так сказать, великой фамилии, производит сильное и грозное впечатление, такие совпадения запоминаются читательским подсознанием. Что и говорить, Гончаров, обладающий опытом цензора и прекрасно владеющий искусством подтекста, умел задавать загадки... И действительно, «неизвестно, дождался ли Филипп Матвеевич рецепта» (С. 126).

В удивительных своих, трепетных, полных отцовской любви и мудрости «Письмах к сыну» Честерфилд справедливо заметил: «Хороший химик из любого вещества сможет извлечь ту или иную эссенцию: так и человек способный <...> может извлечь нечто для себя интересное из каждого, с кем он вступит в общение»<sup>8</sup>. Общась, иногда поневоле, с людьми, Илья Ильич Обломов, как ни странно, проявлял недюжинную проницательность. Будучи совершенно не сведущим в вопросах быта («Я ничего не знаю!»), запросто доверяя судьбу проходимцам, вроде Мухоморова и Затертого, он вместе с тем насквозь видел суетную сущность чиновного или светского Петербурга, безошибочно мог угадать главные болевые точки современной ему действительности.

«Что ж не обломовщина? — задаёт он риторический вопрос Штольцу. — Разве не все добиваются того же, о чём я мечтаю? Помилуй!.. Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление <...> к идеалу утраченного рая?» (С. 163).

Но в настоящую «химическую реакцию» с жизнью благородная теория Ильи Ильича о выделке покоя вступает лишь тогда, когда появляется Ольга Ильинская. Кстати, звонкая пощёчина — единственная в романе! — дело, если так можно выразиться, руки именно Обломова, который не прощает Тарантьева, решительно заступаясь за честь любимого человека.

С момента встречи Ильи Обломова и Ольги Ильинской сердце романа начинает биться сильнее, меняется его ритм, меняется, так сказать, наклон его *письма*, время движется скачками, то замедляясь и почти останавливаясь, то неудержимо летя вперёд, как в разговоре между влюблёнными:

«— Что со мной? — в раздумье спросил будто себя Обломов.

— Сказать что?

— Скажите.

— Вы... влюблены.

— Да, конечно, — подтвердил он, отрывая её руку от канвы...

— Ну, пустите, довольно, — сказала она.

— А вы? — спросил он. — Вы... не влюблены...

— Влюблена, нет... я не знаю, боюсь этого: я вас люблю! — сказала она и поглядела на него долго и задумчиво, как будто мысленно проверяла и себя, точно ли она любит.

— Лю-блю! — произнёс Обломов...» (С. 215).

«Мариенбадское чудо» помогает перу Гончарова вдохновенно летать над страницами.

В недрах художественного текста происходит, как характеризовал подобные процессы Ю. М. Лотман, определённый «стилистический слом»<sup>9</sup>. И ярче всего этот титанический сдвиг стиля отражается в письме, которое пишет Илья Ильич Ольге.

«Пока между нами любовь появилась в виде лёгкого, улыбающегося видения, пока она звучала в *Casta diva*, носилась в запахе сиреновой ветки, в невысказанном участии, в стыдливом взгляде, я не доверял ей, принимая её за игру воображения и шёпот самолюбия. Но шалости прошли; я стал болен любовью, почувствовал симптомы страсти; вы стали задумчивы, серьёзны; отдали мне ваши досуги; у вас заговорили нервы; вы начали волноваться, и тогда, т. е. теперь только, я испугался и почувствовал, что на меня падает обязанность остановиться и сказать, что это такое.

Я сказал, что люблю вас, вы ответили тем же — слышите ли, какой диссонанс звучит в этом? Не слышите? Так услышите позже, когда я буду уже в бездне. Посмотрите на меня, вдумайтесь в моё существование: можно ли вам любить меня?... “Люблю, люблю, люблю!” — сказали вы вчера. “Нет, нет, нет!” — твёрдо отвечаю я» (С. 222).

Сразу видно, эти строки написаны любящим сердцем! Обломов совершенно по-детски пытается объяснить Ольге, что она достойна лучшей участи, раскрывает душу перед ней, и в каждом его «нет» слышится «да». Отрицание становится утверждением.

Такая тонкая натура, как Ольга Ильинская, не может не чувствовать этого. Обломов добился своего, «всё изгадил», как он выражается, и Ольга плачет, прочитав его исповедь. Но слёзы её светлы.

«У сердца, когда оно любит, есть свой ум... оно знает, чего хочет, и знает наперёд, что будет...» (С. 229) — говорит Ольга, глядя любящими глазами на Обломова.

«Ведь письмо-то было совсем не нужно...» — бормочет Илья Ильич. «Неправда, оно было необходимо», — возражает, почти уже играя с ним, Ольга. И далее растолковывает Илье Ильичу — почему именно: «...потому, что в письме этом, как в зеркале, видна ваша... забота обо мне, боязнь за моё счастье, ваша чистая совесть... Вы высказались там невольно: вы не эгоист, Илья Ильич, вы написали совсем не для того, чтоб расставаться, — этого вы не хотели, а потому, что боялись обмануть меня... это говорила честность... Видите, я знаю, за что я люблю вас...» (С. 232).



И далее следует потрясающая фраза автора, многое объясняющая в отношениях Ильи Ильича и Ольги Ильинской: «Она показалась Обломову в блеске, в сиянии, когда говорила это» (С. 232).

Да, любящее сердце знает наперёд, что будет. Трудно поспорить с этим. Но ведь и читатель, знакомый с гончаровским романом, тоже знает кое-что наперёд. О том, например, что «бездна», о которой постоянно упоминает в письме Обломов, и впрямь развернется перед ним, что «душевный антонов огонь» превратится в горячку, а Ольга, как и предполагал Илья Ильич, дожждётся *другого*.

Мало того, настанет время, когда Ольга Ильинская расскажет тому, другому, т. е. Андрею Штольцу, «о прогулках, о парке, о своих надеждах... о ветке сирени, даже о поцелуе». И отдаст ему в руки письмо Обломова. И Штолец, подойдя к свечке, будет читать это письмо вслух и препарировать его, как прекратившее уже биться сердце.

«Письмо любви» — вспомним вновь пушкинскую формулу! — не сгорает, как и быть должно, а становится предметом холодного анализа.

Гончаров огромное значение придаёт интонации штольцевского прочтения, тем акцентам и логическим ударениям, которые ставит он.

«Слушайте же! — и читал: “Ваше настоящее *люблю* не есть настоящая любовь, а будущая. Это только бессознательная потребность любить, которая, за недостатком настоящей пищи, высказывается иногда у женщин... даже просто в слезах или в истерических припадках!.. Вы *ошиблись* (читал Штолец, ударяя на этом слове): перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите — он придёт, и тогда вы очнётесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку...” — Видите, как это верно! — сказал он. — Вам было и стыдно, и досадно за... ошибку» (С. 362).

Потрясающе, но это то же самое и вместе с тем совершенно другое письмо. В нём каждое утверждение есть утверждение, а каждое отрицание есть отрицание. И только. Из него ушло дыхание, из него ушёл свет: «Сирени отошли, поблекли...». Умница Штолец, так понимающе сравнивший когда-то душу Обломова со светлой берёзовой рощей, многого не смог понять или понял, напротив, слишком многое, а Ольга поступила так, как, верно, никогда не поступил бы Обломов...

«Что же вы не пишете? — доносится до нас воркующий голосок Алексева. — Я бы вам пёрышко очинил» (С. 60).

Роман Ивана Александровича Гончарова «Обломов», этот родовой символ русской литературы, чем-то похож на письмо с родины, которое мы, сегодняшние его получатели, читаем — совершенно по разным причинам — со слезами на глазах.

<sup>1</sup> Гончаров И. А. Избранные сочинения. М.: Худож. лит., 1990. С. 22. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы.

<sup>2</sup> Цит. по: Ушакова Т. В. Эпистолярный И. А. Гончарова к С. А. Никитенко: отражение внутренней жизни и концепции бытия писателя // Материалы Международной научной конференции, посвящённой 195-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 2008. С. 387.

<sup>3</sup> Крылов И. А. Из «Почты духов». Письмо XXVI. От гнома Буристана к волшебнику Маликульмильку // И. А. Крылов. А. С. Грибоедов. Н. А. Некрасов. Библиотека мировой литературы для детей. М.: Дет. лит., 1981. С. 82.

<sup>4</sup> См. об этом подробнее: Жегалова С. К. Необыкновенное письмо // Пряник, прялка и птица Сирин. М.: Просвещение, 1971. С. 195–212.

<sup>5</sup> См.: Некрасов А. Н. Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. М.: Изд-во АН СССР, 1948–1952. Т. 11. С. 413.

<sup>6</sup> См. об этом подробнее: Гейченко С. С. Примечания // Пушкин А. С. Стихи, написанные в Михайловском. Л., 1967. С. 246–247.

<sup>7</sup> Пушкин А. С. Стихи, написанные в Михайловском. С. 81.

<sup>8</sup> Честерфилд Ф. Письма к сыну. Максимум. Характеры. М.: Наука, 1978. С. 45.

<sup>9</sup> Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство – СПб, 1998. С. 261.